

Фрагмент из романа

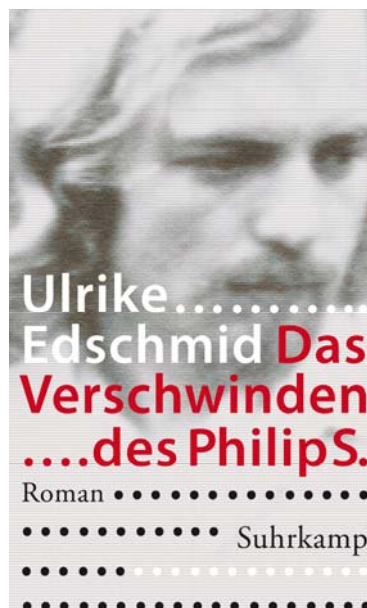
**Ulrike Edschmid**  
***Das Verschwinden des Philip S.***

Suhrkamp, Berlin 2013  
ISBN 978-3-518-42349-3

C. 7-21

**Ульрика Эдшмид**  
***Исчезновение Филипа З.***

Перевод Святослава Городецкого



.....У машин «скорой помощи» толпятся фотографы. На первых газетных снимках видны полицейские, склонившиеся у проволочной сетки. Он лежит на спине между двумя машинами. На форме у самой грудной клетки большое темное пятно. Его тело на булыжной мостовой уже обвели меловой линией, отделяющей его от живых. Молодой красавец с синевой под глазами. Оружие наверняка выскользнуло у него из руки во время падения. Даже после смерти его согнутый указательный палец продолжает преследовать Филипа З., упавшего в нескольких метрах от него, у колючей проволоки. Нога запуталась в проволоке. Черная штанина разорвана. На нем беговые кроссовки, с прорезиненными подошвами. Легче тех, что он носил раньше, с носками из конской кожи, с двойной прошивкой. Плечо и рука закрывают лицо. Черная кожаная куртка немного задралась. Под ней виден пояс. Он попросил сделать его из ремня, которым в Альпах привязывали коровье ботало. Телячий поясок. Единственное, что осталось у него от прежней жизни.

Свет полицейского фонаря осветил его. Смерть на людях. Филип З. лежит в невысокой колкой траве. Замерев в последней попытке к бегству. Будто в прыжке.

I.....  
.....Поздним летом 1967 года Филип З. приезжает в Берлин. Он носит костюм, не соответствующий его возрасту, и имя, которое не значится в паспорте. Узкой бородкой, придающей его провинциальному лицу старомодную твердость, он походит на базельца Бонифация Амербаха, писанного Гансом Гольбейном Младшим лет эдак пятьсот тому назад. Ему двадцать, хотя кажется, что он уже преодолел свой возраст этими размашистыми шагами. Однако фалды не разлетаются по ветру, он движется осторожно, растягивая мгновения, словно хочет сполна насладиться ими. Во всем, что он делает, не чувствуется спешки. И все же некая

тайная сила торопит его, переламявая присущую рослому телу лень.

Во время нашей первой встречи он стоит, прислонившись к стене, и ждет. Ждет, пока я не кончу разговаривать по старому черному телефону в коридоре Берлинской киноакадемии. Мне двадцать семь, у меня ребенок от бросившего меня мужчины, а живу я в Кройцберге, в помещении, которое прежде было булочной. Я по-прежнему хожу в киноакадемию, когда не хватает мелочи для звонка из будки. Меня так и тянет сюда, хотя я знаю, что могу столкнуться с отцом моего ребенка. Заглядываю в открытые двери монтажных, где, играя и перематываясь, тихо гудят катушки с кинолентами. Случается, что на монтажном экране вдруг появляется какая-нибудь вещь из моей комнаты: лампа, позаимствованная студентами ради одной сцены, или стол, за которым сидит актер, а то и моя вышедшая из моды шубка, наброшенная на плечи дамы, выпархивающей из машины. Бывает, я запримечу на монтажном столе снимки старьевщика, бродящего с тележкой по улицам Кройцберга. Проходит он и мимо моей булочной. Он то кладет что-то на тележку, то сбрасывает: никому не нужную коляску с хромированными грязевыми щитками, допотопный велосипед. Вечеру он, покашливая, толкает свое имущество в ночлежку для бомжей у Силезских ворот. В коридоре на меня смотрят фотографии, на которых есть и отец моего ребенка, теперь уже не муж. Пью кофе с секретаршей, вспоминающей, как я впервые появилась здесь, держа младенца на руках.

Отец моего ребенка был одним из первых студентов киноакадемии. За время нашего недолгого совместного проживания в бывшей булочной он снял единственный фильм: последние минуты жизни Сократа, сыгранного нищим с длинными седыми волосами – нищий собирает окурки на Потсдамерштрассе и читает платоновский текст с берлинским акцентом. Актер, играющий его ученика Критона –

восточно-пруссский батрак, по ночам кемарящий в пивнушке у угольной печи. Последние минуты Сократ проводит на кладбище – посреди жизнеутверждающих деревьев, могильных плит и палой листвы.

В начале 1967 года, когда в булочной становится так холодно, что морозные узоры на окне детской больше не тают, я собираю свой вещмешок и сажусь в поезд на Рим. Сын ползает по полу купе и пробавляется сладостями от возвращающихся домой итальянцев. Мы едем к моей подруге К., живущей в Трастевере с родившейся минувшей весной дочерью и зарабатывающей на хлеб переводами с итальянского на немецкий церковных текстов ватиканской библиотеки. Время от времени у нее находится приработок и для меня – я перевожу тексты с английского. На выходных, когда библиотека закрыта, мы снимаем задние сиденья «фольксвагена», ставим туда коляски и отправляемся на озеро Неми. А еще ездим на рассвете по Старой Аппиевой дороге или устремляемся на север в причудливый мир парка Бомарцо с покосившимся домиком и вырубленными в скалах чудищами. По будням моя подруга, прежде чем бежать на работу, успевает выпить в травестерском кафе эспрессо со сливочным рогаликом. До обеда я слежу за ее крошечной дочуркой. Когда она возвращается, мы с сыном отправляемся в путь по церквям, кладбищам, рынкам, садам и музеям. Иду по площадям, как по бесконечной анфиладе комнат, каждая из которых выглядит наряднее предыдущей. Днем наша жизнь легка и полна движения. А вечером, когда дети спят, мы сидим в полупустой квартире и умолкаем посреди разговора, вспомнив, что нам снова никто не пишет. Пытаемся не переживать из-за того, что наши мужья, снимающие свои первые фильмы в берлинской киноакадемии, проводят время с другими женщинами. Когда приходит пора съезжать, мы собираем вещи и освобождаем квартиру. Выкрашенные в красно-белые цвета козлы и доски, служившие нам столами, мы относим обратно на стройку. Детские кровати и матрасы нам одолжили американские художники,

которые снова заберут их, как только мы проведем здесь последнюю ночь и отправимся домой.

Пока меня не было, на моей кровати спала подруга. Соседка докладывает, что она еще и носила мои вещи. В те весенние дни я езжу по другим районам города, навещаю живущих там знакомых и не придаю значения остальному. Когда я не хожу в гости, то беру сына и гуляю вдоль Ландвер-канала. Дойдя до стены, где кончается город, поворачиваю обратно. Прохожу с коляской мимо полуподвальных квартир: на цветастых клеенках раскачиваются круги света от голых лампочек. За столом сидят старик и молодая женщина. Или молчаливая пара. Вечером, когда ребенок засыпает, я сажусь за чертежный стол в гостиной. Среди материалов для кандидатской о писателе-экспрессионисте лежат кадры фильма о Сократе. Тупо гляжу на книги и бумаги, ни о чем не думая. На витринах из молочного стекла проступают очертания людей, ненадолго присаживающихся на карниз.

Второго июня я просыпаюсь в предрассветных сумерках от чьих-то криков. Вижу силуэты полицейских, образующих некий рой, колышущуюся массу. Руки с дубинками и ноги в тяжелых сапогах отрываются от массы, бьют и пинают лежащего на земле человека. Я оцепенело стою за стеклом. Вот мир, в котором предстоит расти моему мирно спящему ребенку, думаю я. Днем отправляюсь на демонстрацию против персидского шаха. Стою сбоку с коляской, не решаясь слиться с толпой. Вечером пробегает слух об убитом демонстранте. Фото застреленного студента неизгладимо отпечатывается в памяти людей моего поколения. Всё меняется раз и навсегда.

Поздним летом я перестаю думать о возвращении мужа и ищу новую квартиру. Нахожу ее осенью, в Шарлоттенбурге, рядом с железной дорогой. Раз в три минуты между станциями «Фридрихштрассе» и «Ваннзе» грохочет поезд. Из булочной я забираю с собой почти все, оставляю только два истертых кожаных дивана.

Переезд организую по черному телефону в коридоре киноакадемии. Филип З. слушает меня, прислонившись к стене. На нем пиджак в полоску и рубашка с монограммой, которая открывается, когда он убирает руку в карман брюк. На мне старомодное платье из вискозы и туфли на каблуках. Он говорит: «Мне очень хотелось бы вам помочь». По словам «очень» и «помочь» я понимаю, что он – швейцарец.

На следующий день он приходит в длинном черном пальто и, перетаскав вверх по лестнице ящики и мебель, остается. Отказывается от комнаты в полуподвале виллы, где сквозь зарешеченное окошко видел шины грузовиков, заезжавших в город по широкому шоссе от пограничной станции Штакен или, наоборот, уезжавших в Западную Германию. Ко мне он приходит со светло-зеленой пишущей машинкой «Гермес» без «В», светло-зеленым чемоданом и фотооборудованием, для которого он приспособил специальные полочки в старом медицинском саквояже на защелках: зеркалкой, тремя объективами (24, 50 и 105 мм), соответствующими блендами, лупой, спусковым тросиком, экспонометром, щеточкой для чистки и замшевым платочком. Зеркалка приобретена в Цюрихе, незадолго до его восемнадцатилетия. Счет, выписанный на имя его отца и выданный с большой скидкой, по-прежнему хранится в выдвижном ящике тумбы, которую он как-то раз соорудил для нас обоих. Подарком этот фотоаппарат не был. Скорее, инвестицией, которая, как надеялись родители, окупит себя даже в руках сына, не оправдавшего надежд семьи.

В магазине братьев Вольпи он выбирает между «минольтой», «лейкой» и «пентаксом» и берет «никон» из-за звука, издаваемого спусковым механизмом. Но не ту модель, с которой в антониониевском «Фотоувеличении» Дэвид Хеммингс преследует Ванессу Редгрейв в английском парке. А простейший «никон» без автоматики, потому что он – медлительный, статичный фотограф, ведущий загодя подготовленную съемку. Случайностей быть не должно. В

фотомагазине он сравнивает выдержку, указанную в описании, с собственными измерениями. Возможно, именно из-за этого аккуратизма продавец, выписавший счет в 1965 году, спустя десять лет узнает своего прежнего клиента на стене в Цюрихе. После его смерти девятого мая 1975 года бывшие коллеги выпустили в память о Филипе З. плакат. Продавец фотографирует его и печатает снимок в газете. Ветру и дождю еще не удалось исказить лицо. На фото видны смеющиеся глаза, широкий лоб, число 28, дата его смерти и три слова, некогда образывавшие фразу: «больше», «смысл», «жить».

## II.....

.....Похоронили его на небольшом кладбище на окраине Цюриха. Там открываются широкие просторы, уводящие к Форху и Рюти. На пути к его могиле стоит клиника, где он появился на свет в 1947 году – под знаком Овна, который якобы не признает прошлого. Вот уже много лет он лежит в одиночестве под громадным, украшенным гербом камнем. У могилы молодая ель. Снег вокруг усыпан иголками. Сегодня рядом с ним покоится и бабушка. То и дело подсовывавшая ему что-нибудь, когда он убегал из дома, отчего он прибавил ее фамилию к отцовской. Следом за ней в могилу сошла Клари, домработница и няня, которую он любил. Бабушка и Клари пережили его почти на двадцать лет, родители больше, чем на тридцать. Предприниматели, нажившиеся на установке дорожных светофоров. Его отчий дом – вилла на берегу Цюрихского озера.

От станции Тифенбруннен берег круто поднимается к Резедаштрассе. С тех пор как наши пути разошлись, я в этом городе впервые. Моросит дождь. Прошло уже более трех десятков лет, я сижу на невысоком парапете и смотрю на распахнутые темно-вишневые ставни. Лишь однажды поднималась я с ним по лестнице к этой вилле в стиле модерн. Тот визит закончился в прихожей. Сейчас здесь работают архитекторы, фотографии отреставрированных комнат выложены в Сети. Благодаря виртуальной экскурсии мне удастся рассмотреть, насколько красив дом изнутри, круглая прихожая шире и просторнее, чем казалось. Несколько выстроившихся полукругом дверей открыты, и я могу заглянуть в комнаты, где ни разу не была. О его детстве мне ничего неизвестно. Я лишь представляю себе, как он жил. Витая лестница ведет к верхним этажам и его комнате. Оттуда ему видна ежедневная дорога в школу: вдоль озера почти до самого центра, на площади Бельвью налево через мост на другой берег. Однажды он сказал, что все время преодолевал этот долгий путь пешком. Даже зимой – ни билета на трамвай, ни велосипеда, ничего изнеживающего, никаких исключений из пуританских правил,



обеспечивших богатство. В отцовском доме, рассказывал он в другой раз, не читали книг, не любовались картинами, не слушали музыку. Во всем царила справедливость, но желания, детские желания не выполнялись. Их заменяли нужными и полезными приобретениями.

Без всякого энтузиазма посещает он занятия по экономике в кантональной школе, в районе Энге. Подчинившись воле отца, вознамерившегося сделать наследника предприятия хотя бы из второго сына, раз уж первый отбил от рук и стал велогонщиком. Однако товароведение, бухгалтер, экономическая география и ведение деловой переписки не привлекают Филипа З. За год до выпускных экзаменов он уходит из школы с аттестатом зрелости. Высший балл у него только по немецкому. Он погружается в мир слов и образов. Переезжает на Ваффенплац. В ясную погоду ему через озеро видно родительский дом. Но его там уже не ждут, это лишь воспоминание. Из своей комнаты наверху он не берет ничего, кроме фотоаппарата.

Ему девятнадцать лет. Он работает фотографом в журнале мод и там же на полставки подрабатывает графиком. Его профессионализм сомнений не вызывает. На первую зарплату он обновляет гардероб. Одежда для него больше, чем просто вещи: ей он выражает свою самость, тщательно и поспешно набрасывает автопортрет. Это его форма бунта против родителей. Он заказывает то, что ему не нужно, что лишено всякой пользы и что вообще-то ему не по карману – три рубашки с монограммой, костюм, ботинки из конской кожи и длинное черное пальто из благородной материи. Таким он запомнился знавшим его людям. Говорят, одно время у пальто был меховой воротник, как у Оскара Уайльда, потом снова бархатный или на шелковой подкладке, а сшито оно было у лучшего цюрихского портного за месячный оклад.

Он снимает свой первый фильм. Сценарий они вместе с другом написали на последних школьных каникулах. Зимой 1967 года фильм показывают на Золотурнском кинофестивале. Речь идет о вакууме между истеблишментом и оппозицией, в котором пребывает его

поколение, утверждает «Нойе цюрхер цайтунг». Потом он этот фильм где-то оставил, на каком-то чердаке или в подвале, никто не знает где. Весной ему исполняется двадцать, и он решает стать художником. Называет себя независимым режиссером. На шапках его писем слова «кино» и «эксперимент» взяты под лупу и повторяются по кругу в многократном увеличении.

Вместе с художником, который тоже носит черное пальто, он снимает мастерскую в районе Цолликон. Художник говорит, что тогда был его лучшим другом. Филип З. одобрял его намерение стать свободным художником, самоотверженно помогал. Журнальными гонорарами он поддерживал художника наплаву и вносил арендную плату за мастерскую. Родители не дали бы ему ни гроша. Все в нем протестовало против их дома, против их ледяного замка. Он-де был чувствительным человеком и хорошим фотографом. Филип З., рассказывает художник, сделал фотографию для плаката его первой выставки. Три дня просидел он в темной комнате, прежде чем удовольствовался результатом. Если у него и были образцы для подражания, то он превосходил их в кратчайшие сроки. Потом он отправился в Берлин, и их пути разошлись. Но вместе им было очень хорошо, заверяет художник цюрихскую газету спустя много лет.

Он подает документы в созданную годом ранее Берлинскую киноакадемию. Его признают профессиональным кинематографистом. Среди тех документов, помимо плакатов, восемь работ его друга, художника, отпечатанных на алюминии. Это популярные комиксы о некой девушке, а заодно экспозиция для фильма, который он передумывает снимать, когда приезжает в Берлин, и атмосфера все еще разрушенного города вдохновляет его на другую картину. Работы друга он по отдельности аккуратно заворачивает в папиросную бумагу и складывает в картонную коробку.

Весной 1967 года он на неделю приезжает в Берлин, чтобы сдать вступительные экзамены. Пишет многостраничный анализ

короткометражного игрового фильма. Скрупулезно, кадр за кадром, воспроизводит телодвижения двух заключенных, пробивающих брешь в тюремной стене. На вопрос о любимых писателях или композиторах он через запятую перечисляет: Георг Бюхнер, Ален Роб-Грийе, Бетховен, Стравинский, «Роллинг стоунз». Не упоминает ни Шуберта, ни Брамса, чью музыку вскоре использует в кино. Среди художников его сильнее всего впечатляет Энди Уорхол, а из режиссеров – Жан-Люк Годар, чей фильм «Безумный Пьеро» он считает новой вехой в истории кинематографа. Пишет, что Годар рассказывает о правде, о жизни и смерти. «Pour être sur de vivre, il faut être sur de mourir».

В начале семестра, в первые дни сентября, он с небольшим количеством вещей перебирается в Берлин на своем маленьком красном «ситроене». Он похож на человека из ниоткуда. У него, работающего со зрительными образами, нет ни одного фото прошлых лет, ни одного детского или юношеского снимка. Семья, родной дом, прежняя жизнь – от всего этого он дистанцируется, даже от имени, данного ему родителями. Друзей он тоже не вспоминает. Ничто из этого не играет никакой роли в оставшиеся восемь лет его жизни. Даже родной диалект ему больше не нужен. Вскоре он будет изъясняться только на литературном немецком с едва заметным акцентом. Хотя изредка у него еще нет-нет да и проскочат те необычные ударения и начальные слоги, по которым можно догадаться, откуда он приехал. Наведываясь домой в ближайшие годы, он выглядит чужаком или путешественником, который уже давным-давно там не бывал.